

АЛЕКСАНДР МАЛИНОВСКИЙ

## ДОМ НАД ВОЛГОЙ

*...И когда в первый раз в жизни я попал на Волгу — она поразила меня своими людьми... Тот же тяжелый, подневольный труд, так же сгибались спины под многопудовой тяжестью и так же велики были машины и пароходы — но люди были другие.*

*Широкобородые, рослые, они говорили громко и ходили так прямо и свободно, как будто никогда им не приходилось сгибаться.*

*Они пели красивыми свободными голосами, и самая печальная песня в их мощных грудях перерождалась в широкий и веселый призыв к жизни...*

Леонид Андреев

Этим летом к нам под Самару на дачу приехала родственница моей жены Мария Петровна. Уже более тридцати лет живет она с семьей на Севере. Приехала с Надыма, как сказала, погреться.

На мои просьбы рассказать что-нибудь из своей долгой жизни она вначале отмахивалась:

— Не в обычай мне это. Кто я? Всего-то “булгахтер”, как говорил мой муж. Кому интересно мое “житие”?

А тут съездили мы с ней в Октябрьск, поселок, ранее называвшейся Батраки, где она раньше долго жила с родителями в бревенчатом доме на высоком берегу Волги. Пожили там три дня, в чужом теперь доме. Теперешний хозяин сдает его. И живут в нем, кому вздумается. Последние полгода дом пустует.

Кого можно было, Мария Петровна проведала. Что смогла увидеть, увидела. Отогрелась душой...

На обратном пути в Самару вздыхала: “Дом-то, дом наш... Души в нем живой не стало, улетучилась...”

...И словно прорвало плотину. На протяжении всего времени, пока жила у нас, рассказывала, как она говорила, о “своей жизненке”.

Рассказывала спокойно, ни надрыва в голосе, ни слезинки на лице...

Мы с женой и внуком слушали...

До сих пор во мне ее слова:

— Как ведь получилось: Волга и железная дорога в жизни оказались главными. Все около них. Все с ними связано...

...Сколько годков утекло, а мало что забылось. Что с другими было, что папа с мамой рассказывали – помню. Словно со мной все случилось... И буд-то мне сотни лет... Многими жизнями жила...

И братики мои, и сестры, детки мои – все у меня ребятишками бегают... Брат Сережа воевал на войне, а я все равно его только мальчонкой и вижу... Родни много. И вся она с Волги, с Сызрана, как раньше говаривали.

Дед мой по маминой линии Бондарев Федор Федорович развозил по городу еще до революции жигулевское пиво. Пиво доставляли в Сызрань из Самары с завода фон Вокано, а разливали на месте. Потом он с напарниками вез бочки или бутылки куда надо.

Федора Бондарева многие знали в Сызрани. Работа у него была заметная.

А все мужики в роду моего папы Смирнова Петра Андреевича и деда Андрея Петровича издавна были извозчики. Своих лошадей имели.

Когда мой папа Петр совсем еще мальчишкой был, сел раз к нему в пролетку пассажир один. Это и решило папину судьбу. А может, и детей его, и внуков.

Оказалось, что пассажир не простой. Инженер. На железной дороге работает. По тем временам инженер-путеец – профессия очень серьезная.

Несколько раз папа подвез его на работу. А потом уж стал постоянно доставлять.

У папы-то моего желание огромное было на железной дороге работать. Не хотел он с лошадьми всю жизнь, как отец с дедом. Лошадей любил, а на душе другое было.

Вот один раз и говорит он седоку своему:

– А можно к вам на работу устроиться?

– А куда ты хочешь? – спрашивает инженер.

– У меня в семье все извозчики. А мне паровозы страсть как нравятся!

Весело засмеялся инженер:

– Лошадь на паровоз меняешь?! Резонно!

А потом серьезно так:

– Ладно, с началом поговорю. Нравишься ты мне.

Потом папа рассказывал: “Я его в следующий раз везу, а он: – Вот к такому-то часу приходи. Я с начальником разговаривал”.

Папа ничего родителям о задуманном не говорил. Не торопился.

Пришли они, значит, к начальнику. Инженер говорит:

– Вот тот парень, который паровозы любит.

– Ну, раз любит, – отвечает начальник, – возьмем в бригаду учеником слесаря.

Папа так рад был. Домой приехал, и с порога:

– Всё! Не буду я больше извозчиком! Поступаю работать в железнодорожное депо.

Мать обрадовалась. А отец его:

– Да что ты? У нас все... Потомственно... Надобно по-отцовски: теми же ложками из того же блюда. Надежней так.

– А я так не хочу, я изменяю вам. Я больше механизмы, железки люблю. Время теперь другое. Не лошадиное!

Так по-своему и свершил. Три месяца в учениках проходил. Там, рассказывал, мужики бородатые с ним учились, а он пацан совсем. И три класса.

На четвертом месяце дали им задание. Я не скажу точно, какое. Кажется, притереть какую-то деталь. Он лучше всех сделал. И его слесарем по ремонту в цехе оставили.

У него желание огромное было учиться дальше. Взял у одного машиниста в депо книжку про устройство паровоза. Все механизмы изучил и через три месяца пошел к тому же начальнику.

– Переведите меня, пожалуйста, на паровоз, хоть кочегаром.

Начальник со второго раза согласился:

– Ладно, – говорит, – удовлетворяю твою просьбу, раз ты, Смирнов, такой настырный. Попробуешь кочегаром, потом видно будет...

Тогда поезд такой ходил, от Сызрани до Обшаровки, назывался – “Трудовой”. На нем папа и начал работать машинистом. Не сразу, конечно. Но достиг, чего хотел. “Прилепился”, как он говорил, к технике.

Очень хотел учиться дальше, потому как загорелся стать инженером. Чтоб дороги железные строить, по всей стране. До самого Востока.

Все время с книжками был. Но на какие деньги учиться?! Смурной, заметили родители, стал ходить Петр. Нервный.

Прошло некоторое время, он словно переродился. В церковь зачастил. Просветлел весь... Сама доброта. Начал соблюдать посты. Со своим другом Никитушкой в хоре церковном пел. Столько песен они старинных знали, а не шибко оба грамотные.

И тут папа объявляет родителям:

– Готовлюсь уйти в монастырь, в монахи.

Всполошились все в доме. Не знают, как и подступиться к нему. Он стоит на своем: “Я так решил”.

...Но его вскоре в армию призвали. В морфлот. Все и отодвинулось.

Служить папа попал в Кронштадт на боевой корабль, в машинное отделение. Потому как в машинах понимал, что к чему.

У папы старший брат был, Иваном звали. А у него жена Доня. Шустрая такая.

Мой дед, Андрей Петрович, пока еще папа служил на флоте, попросил Дону приглядеть невесту сыну Петру. Чтоб, значит, тот опять не начал думать, когда вернется, про монашество. Доня и постаралась.

А как раз Крещение. На Крымзе крестный ход был. Сейчас Крымза не та совсем. А тогда нормальная речка была. Вырубали на ней крест во льду и окунались. Народу сходилось, чуть не вся Сызрань.

Доня показала нашу будущую маму папе сначала в храме.

Мама в то время у портнихи работала. Потом уж рассказывала: купили сукна, сшили по-модному, чуть не до полу пальто. Я помню, оно потом долго лежало в сундуке, пальто это. Уже без воротника. Воротник огромный был, говорили. Жесткий мех, блестящий. Этот воротник куда-то определили. Забыла, куда. А пальто лежало. На боках у него такие красивые строчки шли. И огромные железные дутые пуговицы. Три штуки. Тогда модно это было. И сапожки у мамы красивые, на шнурочках. “Кокетка” назывались.

Мама моя Рая аккуратистка была. Доня по субботам со своей матерью в баню ходила. Она еще там обратила внимание на то, какое у Раи чистое белье. Белое и аккуратное. Она его с помощью своей мамы парила в большом чугуне в печке.

...Рая папе в храме с первого раза, как увидел, очень понравилась. Потом они встретились на Крымзе.

После Крещения загорелся: “Пойдемте свататься”.

А Рае, маме будущей нашей, всего семнадцать лет. У Бондаревых пятеро детей было. Трое умерли.

Старший брат Федор не по любви женился. Как было дело? Любил он плячку, Бруновскую Соню. Через два дома от них жила. Семья Бруновских большая. Родни нет. И земли мало. Давали ее на душу, на сыновей. А у них одни девки. Бедно жили. Федор зачастил к Соне. А мать его, Агафья, ни в какую: “Мы бедные, и еще бедноту разводить. Нет, нет и нет!” Разговорили его. Женили на богатой из Засызрана. Взяли Устину Захарьеву. Но Федор не полюбил ее, оказалась она гулящей. И выпивала, и покуривала. Это в то время-то!.. Я застала, видела ее... Да... Родилось у них двое: Павлуша и Николай. Маленькие еще были, когда Федора не стало... Он со своим отцом крышу своего дома крыл. Лето. Жарища. Достали из погреба квас. Он слез с конька. Напился холодного и лег на спину на травку. Через три дня его не стало. Скоротечная чахотка.

Ладно. Я о папе с мамой продолжу.

Бондаревы с первого раза отказали. Смирновы – беднота. Прошло сколько-то времени, папа начал донимать Дону: “Пошли да пошли опять сватать Раю”.

Направились они во второй раз свататься.

Не сразу сладилось дело. Но сдалась Агафья:

– Господи, – молвила, перекрестившись на икону, – Федьку женили против воли. Не сложилось у него. Нельзя упрямять! Неспроста помер. Не в нашей воле...

И дочери:

– Нравится тебе Петр?

– Нравится, – отвечает она.

– Ну, Бог с тобой, иди за него. Не с богатством жить, а с человеком!  
Так было.

...Только папа женился, его снова забрали во флот, в четырнадцатом году. Всю германскую служил в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки. – **Прим. авт.**).

Случилась грыжа у него. Сделали операцию и отпустили в отпуск домой. Когда вернулся на службу, его эсминец “Летучий” ушел в море.

Командир другого корабля, который назывался, кажется, “Быстрый”, взял к себе. Чтобы не болтался, значит, без дела. Больно понравился папа командиру по службе. “Я с командованием решу, оставлю тебя у себя”, – так сказал ему.

А эсминец “Летучий” погиб во время шторма в Финском заливе. Остался из команды в живых один боцман. Когда подобрали, он уже ума лишился.

Папа продолжал служить на “Быстром”.

Мама потом одну зиму жила у папы. Квартиру они снимали где-то у одной финки в Гельсингфорсе.

У этой хозяйки швейная машинка была. Мама шитьем зарабатывала и себе, и ей. Маму-то, когда ей было всего двенадцать лет, в Сызрани отдали учиться шить. Немка Дарья Карповна набирала девочек и обучала их ремеслу. Семья у немки была большая. Те девочки, чьи родители не могли платить, мыли полы, варили, убирались по дому. Это была плата за учебу.

Родитель сказал: “Я лучше платить буду, только учите ее сразу шить”.

Мама хорошая была швея. Эта специальность и выручала нас всех.

А тут – февраль 1917-го.

“Ничего, – говорил папа, – не поймешь: придут на корабль одни – свое говорят, а придут другие – свое”.

Неграмотные были. Куда податься, не знали. Что творилось!

Дружок Гурьян подталкивал:

– Прислоняться к кому-нибудь надо. Посередке не устоять! На стремнину выходим!

Папа так ни к кому и не примкнул. Не надо ему это было. Командир “Быстрого” хороший был человек. А пришли люди и начали команду смущать. Тянуть на свою сторону. Командир против. За дисциплину стоял. Зимой это было. Корабли высокие такие. Подхватили матросики командира и выбросили за борт. На лед. Разбился насмерть.

Судовые комитеты, папа говорил, верх взяли. Много командиров погибло. Двоих офицеров на другом корабле, он рассказывал, свои же матросы убили кувалдой. По голове, сзади.

...Вскоре он вернулся в Сызрань. На паровозе стал работать, в депо. Но недолго проработал, как гражданская война началась, и Сызрань заняли белочехи.

А ночью тридцатого мая забрали папу...

Мама была беременна Надей. Ей стало плохо. Что делать? Врача нет. До больницы не добраться. Вокзал в руках белочехов. В городе переполох. И Самара на осадном положении.

Папа пропадал около года, до середины девятнадцатого. Мост через Волгу белые взорвали без него, при отступлении. Два пролета изувечили.

Потом папа рассказывал: “Я – за машиниста, рядом помощник. Тут же охранник чех, следит, чтобы не набедокурили чего. Лишнего слова сказать нельзя. Остановки только по необходимости. Целый эшелон чехов везем на Восток. Все пути от Пензы до Забайкалья тогда были заполнены эшелонами с чехами. Во Владивостоке они намеревались перегрузиться на корабли”.

Папа называл станцию, где они отделались от чехов, Арысь. Это в Южном Казахстане.

Когда охранник заснул, на этой станции они пробки вывернули. Воду слили. И все! Паровоз, как на приколе. И удрали. Блуждали долго. Была эпидемия тифа, оба заболели.

Очнулся папа в больнице. Без документов, без вещей – все пропало.

Напарник неизвестно где. Скорее всего, убили.

Когда поправился, вспомнил, как дело было. После больницы пошел в местное депо, рассказал. Ему поверили там. Дали какое-то пособие, чтоб смог доехать до дома.

На товарных добрался до Сызрани. Не сразу приняли его на работу. Проверили: по своей воле или по принуждению вез белочехов.

Закончилась эта канитель, стал снова работать машинистом.

Папа старательный был. Работал с большой охотой. В двадцатые годы привел он как-то поезд на пять минут раньше графика. Его тут же вызвали к начальнику. Так ему надавали-настращали. Накричали. “А вдруг авария случится?! Поезд приведешь, а хвост другого куда девать? Может не успеть уйти. Что тогда делать? Куда торопишься?”

Сильно переживал, когда ему говорили то, чего он не принимал. Не молчал.

Когда позже на железной дороге возникло целое движение за сокращение времени перевозок, он уже не работал машинистом. Но шишек за то, что досрочно приводел поезд, успел наполучать.

А тут предложили в партию вступить. Он и вступил.

Отец его, мой дед, отговаривал. А папа ни в какую: “Я уже вас раз послушался, не пошел в монахи. Теперь по-своему сделаю”.

Заупрямился.

Отец ему:

– Это же разные вещи. Понимаешь?

– Понимаю, – отвечает, – цели партийцев схожи с теми, которые хотят достигнуть верующие. Только христианство обещает рай после жизни, а коммунисты – в этой жизни, на земле! Царство Божье на земле можно достичь. Коммунисты хотят дать его рабочему человеку, пока он жив! Церковь когда-то дать обещает, а новая власть – когда живем!

Дед Андрей аж захворал от таких его разговоров. А папа, будто ему кто на ухо нашептывал, сделал, как захотел. И как партийного его в тридцать четвертом, когда в нашей семье было уже шесть ребятишек, направили на подмогу, на Дальний Восток. Мы и поехали всей гурьбой. Мне было тогда три года. Я ничего не помню – из разговоров только.

Мама рассказывала, что мы не одни ехали. Две семьи было – наша и Борисовых. Каждой семье по вагону выделили. Смирнов да Борисов – оба машинисты. У обоих коровы, а у нас еще и лошадь. Семью из восьми голов кормить надо. В один вагон погрузили скотину, в другой – сами с детьми. У Борисовых трое ребят было.

Месяц ехали. Приехали на станцию Ерофей Павлович Амурской железной дороги. Это за Читой. Далеко.

Три года прожили там. Отец сначала работал машинистом паровоза, как и Борисов. А потом их обоих перевели в службу техники безопасности, как очень грамотных. Следить за состоянием паровозов и вагонов.

Часто бывало: начальство сверху требует, чтобы поезд отправить тогда-то и тогда, а папа: “Нет, нельзя. Надо ремонт делать, устранять неисправность”. Не мог покрывать.

Где правда? И нельзя, и надо. Маялся он со своим характером. От этого и пострадал.

...Как получилось? Чтобы папе попасть в контору, надо было идти через мастерские, где паровозы ставят на ремонтную яму. Яма эта глубокая. Рабочие идут, а в помещении все время пар, плохо видно. Если яма открыта, зажигали красный свет: дескать, путь закрыт. Если зеленый – открыт путь. Зеленый свет дали, а яму решеткой не закрыли.

Папа и еще один молодой парень упали в эту яму. Кто с ним работал, говорили, что специально так устроили. Чтоб не препятствовал. Надоел он со своей дотошностью. Специально – не специально... Начальство-то помалкивало. Не скажешь точно: кто и чего?

Уж очень папа с детства стремился к машинам. Вот машины его и ухайдакали.

Около двух часов они провалялись в этой яме. Хватились их, пришли домой к нам, а мама: “Он на работу ушел”. Когда их нашли, парень был мертвый, а папа без сознания. Потом оказалось, что у него в двух местах перелом позвоночника.

На второй день папа начал говорить. Выжил. Через полгода стал задыхаться. Врачи сказали: “Вам здесь не климат”. Как срубили его. Расстроили ему все здоровье лекарствами. Когда приехал в Одессу на курорт, показал

тамошнему врачу рецепты на лекарства, которые он принимал. Тот качал головой, приговаривая: “Они же вам сердце травили. Куда это годится?” Что скажешь на это?

Тогда на железной дороге аварий и несчастных случаев полно было. Неспойно.

Приезжал Каганович разбираться. Но до Смирнова ли? Каким был и каким стал папа после увечья? Как небо и земля! Дали ему инвалидность. Вторую группу.

Так вот! С кривдой жить больно, а с правдой тошно.

Надо было возвращаться назад в Сызрань. Опять дорога, половина России на колесах. Тут уж помню, как мы ехали.

Когда поезд стоял, я камешки собирала. Прямо на берегу Байкала. Они были с одной стороны обычные, а с другой – как обтесанные. Красивые.

Я потом у нас в Жигулях таких не видела. Набрала этих камешков, сколько хотела. Долго они у меня были. И в Сызрани, и в Октябрьске. Камешки с Байкала! Играли в разные игры в них. Были они и белые, и коричневые, и голубые.

Помню, как мы мимо станции Батраки ехали. Там мой мешочек с камешками чуть было не украли. Подхватили, думали, что-то другое в нем. Он же тяжеленький.

Приехали мы в Сызрань близко к осени. У папы в городе сестра Таня жила. У них семья! Да мы нагрянули. И началась наша новая жизнь на старом месте.

Папа до самой смерти так и не поправил здоровье. И наша жизнь после беды этой стала такой, какой получилась.

А что наши жизни тогдашние? Как камешки меж колес паровоза... Не видно их. И некому видеть. Того и гляди, как бы совсем в пыль не стерло. Такие колесища...

Вот живем у тети Тани и никак не можем купить дом в Сызрани. И корову, и лошадь продали перед отъездом, а денег маловато. Ехали с Дальнего Востока больше месяца. Потратились.

Тридцать седьмой год. Мне уже шесть лет.

Летом тепло, а наступила осень, мерзнуть стали. Спали-то кто в коридоре, кто в сарае.

У тети Тани старшая дочь Лиза была замужем за Никитой Ушаковым из Батраков, что на берегу Волги. Приехала его мать, посмотрела на нас и говорит:

– У меня подруга дом продает, Карпухина Васса.

Папа и зацепился, поехал в Батраки. Дал задаток за дом. Составили бумагу. Если владелица дома передумает продавать, то возвращает задаток и еще такую же сумму. Если папа откажется покупать, деньги остаются у Вассы и столько же папа доплачивает.

Приехали потом дочери к ней из Самары:

– Что ты делаешь? Не продавай.

А Карпухина деньги уже почти все потратила. Продала. Куда деваться?

Дом этот был привезенный. Раньше плоты связками гоняли с верховьев Волги. Чтобы подработать, мужики срубы делали. Ставили их на плотках. Когда пригоняли плоты, срубы продавали. В Батраках таких домов было немало. Бревна толстенные. У этих бревен выпиливали из середины доски на пол, на потолок. Края на стены гнали.

Когда-то дом стоял почти у самой Волги. А потом начали железную дорогу расширять, пути добавлять. Станция узловая. Оренбургская железная дорога начиналась с Батраков. Много чего достраивали. Дом и перенесли. На пустырь, вверх, в сторону Линева оврага. Целый там порядок выстроился. Так оказался наш дом над Волгой. Случилось это в 1905 году. Уже сто четыре года прошло.

Стоит домина. И не покосился. Крышу несколько раз меняли. Сени тоже, из таких же сосновых бревен. Одной породы. Потолка у сеней сначала не было. Сразу крыша, и все. Видел, какие сени большущие, два окна. Папа лавку мастерил широченную. Поставили две керосинки. Готовь – не ленись! Тут же, на лавке – чугун двухведерный. Слава потом крышку к нему сделал деревянную. Вода всегда была рядом.

Первую зиму кое-как прожили. Неухоженный дом был. Клопов!.. Ужас! Внутри дома стены оштукатурены глиной с соломой и побелены. Как только весной потеплело, глину всю отодрали, дранку тоже. Папа удивился, какую красоту закрыли глиной!

У нас в переулке за углом жил печник Корней Чудаков с женой Марфушкой. Папа с ним договорился, и голландку с печкой переложили. Поменьше сделали. Между ними промежик получился. Сверху папа сделал полати. На них мы и ночничали.

В переднем углу – икона, в заднем – печь. Так и зажили.

Папа мастер был по железу. Сделал короб для голландки. Печку мы почти и не топили.

Сестра Надя на угольном складе работала. Там выписывали уголек. В тележке мешками через железную дорогу наверх возили. Им и топили.

Голландка наша была с поддувалом. Весело топилась. Уголек горит по-немножку в сторонке. Мама поставит чугунок, и в нем побулькивает. Даже булочки она пекла в ней. Папа противень сделал. Небольшой, как раз, чтобы помещался. Приспособились.

Наши полы в доме и в сенях мы берегли. Они некрашенные были. Веником жестким натрешь, водой смоешь. Высохнут, желтенькие такие. Светятся доски! Широкие. Но пришло время, стерлись. Опять: что делать? Долго по стертым-то шлепали. Отремонтировали пол, когда уж я на переправе работала.

У Вани Солоухина на Правой Волге дочка на комбинат устроилась. Про ремонт разговорились. А он: “Я с Нюрой поговорю, у них там плиты ДСП полуманные, нестандартные выписывают. Дешевле будет”.

Выписали. На машине привезли тридцать квадратных метров. Всего за девяносто рублей. Перестелили пол. Проолифили. Пришло время, покрасили. Все как полагается, чин-чинарем...

Папа больной. Детей, как галчат в одном дворе. Надя в восемнадцатом году родилась. Сергей – в двадцать третьем. Таня – в двадцать пятом. Слава – в двадцать девятом. В тридцать первом – я. А уж Володя – на Дальнем Востоке в тридцать шестом, за год до того, как с папой случилась беда.

Тетя Таня, у которой мы когда-то жили в Сызрани, часто к нам потом в Батраки приезжала. Наш папа был младший у них в семье. Он с тысяча восьмьсот восьмьдесят седьмого, а тетя Таня на четыре года старше его. Она уважала папу. Может, еще и оттого уважала, что муж ее, Николай, был никакой. Ни украсть, ни покараулить. И никакого не было у него в руках ремесла. Выпивал здорово. Ходил ямы копал, погреба. Что-то по мелочи делал. То в бригаде, то один. Приносил домой копейки. Жили больше на то, что зарабатывал мой дедушка. А Колька-то, если и заработает что, все тут же пропьет. А не заработает, лопату продаст, а все равно выпьет. На другой день занимали у кого-нибудь, чтобы лопату купить.

Было у них трое детей. Старшая дочь Соня, потом Лида и младший Николай. Соня на фронте погибла. Николай заболел туберкулезом и рано умер. Лида на Север уехала. И через год там умерла.

У нас одно лето много тернослива уродилось. Вот тетя Таня за терносливом и приехала к нам. Он такой крупный. Черный, прямо аж сизый. Она так радовалась ему. Набирали мы тернослив в ведра. Она его в Сызрани продавала. Все какие-никакие, а деньжата.

Говорила она нараспев:

– Братец Петя, как я соскучилась! Как у вас в семье спокойно!

Я на улице была. Вошла и слушаю ее молча.

Говорит, а сама гостинец вынимает: большущий такой крендель. Сушки – маленькие, она их привозила в прошлый раз. А это – громадный такой, крендель. Тетя Таня на него смотрит и сама радуется. И всем хорошо так от ее лица светлого.

...Наконец-то в Батраках мы купили корову. Радость какая! Известно: корова на дворе, харч на столе.

Корова была большая и пестрая. Звали ее Ранеткой. У нее было белое пятно на лбу. И еще по одному на спине и на боках. Большущие и тоже белые.

Умница была Ранетка наша. Можно и не ходить, и не встречать ее из стада. А я любила это делать. Мама доить начнет, а она ее лижет и мычит. Куда как соскучится. Молочница была. И хоть бы кого тронула когда. Не пырлась. Золото недооцененное, а не корова!

На нашей стороне Волги, на правой, не было травы. Траву мы возили с левого берега на долбленке. Лодка из цельного дерева. Большая такая сомина, метров пять длиной, а то и поболее. Края лодки обшиты досками. Лавочки – три штуки. Две пары весел. Все основательно так. Папа звал нашу лодку почему-то редедей (говорят, был такой буксир на Волге). На носу лодки – цепь. Рядом якорь. Была еще для нее рама на колесах, как тележка. На ней возили лодку, когда вода убывала.

Лодку оставляли на зиму на берегу. Для этого была цепь и огромный замок. Все, что связано с лодкой, Волгой, нашими поездками за сеном, мне так по душе было. Папа все говорил, что мне бы мальчишкой надо родиться. И правда. Я жалела, что такого не случилось. Особенно я любила, когда в затоне плыли. Тихо кругом, вода гладкая, как в блюде. Слава с Володей на весла наваливаются. То лопасти глубоко в воду погружают, то в небе ими, как папа, усмехаясь, говорил, “колеса крутят”.

А папа гребет не торопясь, экономно, как бы играючи. С уважением к воде... Спина у него прямая, не прогнется. По-другому ему нельзя с его пловничником. Руки работают, как механизмы какие. Будто казак в седле сидит. Красиво!

...Сена на лодку навалим целый воз и плывем потом по течению. Дух захватывает!

Левый берег ровный такой. Правый – стеной стоит. Наверху, в Костычах, церковь. Помолюсь потихоньку на нее и сижу чуть дыша. Чего только глаза не видели потом за жизнь, а эта вот картина...

Знала, что в церкви-то тюрьма устроена, а все равно помолюсь... Купола притягивают.

...Папины истории любила слушать.

О том, как в старину царь Иван Грозный в походе своем остановился в наших Жигулях. И захотел он свое войско сосчитать. Велел каждому воину своему горсть земли на одно и то же место бросить. Каждый и бросил, коль царь велел. Так образовался курган великий. С тех пор зовут его Царевым.

Как мне хотелось на этом кургане побывать! Еще я больно желала Разинский – Молодецкий курган увидеть. Столько про него слыхала... Песня еще про него могучая!

И еще одна песня была. Особенная. Я все ждала, когда папа вспомнит про нее. Он часто ее пел. Откуда она такая у него?

*Ой, ой, о-е-ей,  
Дует ветер верховой,  
Мы бредем босы, голодны,  
Камнем ноги порваны,  
Ты подай, Микола, помочи,  
Доведи, Микола, до ночи.  
Эх, ухнем, да ой, ухнем!  
Шагай тверже, друже.  
Ложись в ляжку туже.  
Ой, ой, о-е-ей.*

Лодку у нас вскоре украли. Замок отбили и укатали. Тут уж нам совсем тяжело с сеном-то стало...

Все к одному: лодку украли, и коровы не стало, собаки ее подрали. Горе. А тут как бухом – война! Сравнимо ли с нашими прежними бедами?

Пошло-поехало!.. Сережа, едва окончив курсы трактористов в Батраках, ушел добровольцем. А мы, которые остались, казалось, были вдаль от войны, а не в стороне от нее. Похоронки начали приходить, раненные поступать. В Сызрани одиннадцать госпиталей развернули для фронтовиков.

От Сережи, брата, ни единого письма с фронта. Где он? Что с ним?



Старшая сестра Надя недовольная все была, корила родителей: “Вот вы купили дом в Батраках. Дети неучами остались”. Она так говорила, потому что на поездки в Сызрань нужны были деньги. А нас пятеро, кроме нее. Где денег столько взять? Таня, когда окончила седьмой класс, все же поступила в трикотажный техникум в Сызрани.

А война началась, ушла из него. Поступила в военное училище, эвакуированное из Москвы в Сызрань.

Есть нечего, носить нечего — она так и решила. А подружка Тани, Роза Ивантеева, доучилась в техникуме. Уже после войны в Ригу попала. Там замуж вышла. После институт окончила. Раза два приезжала в Батраки. Я ее видела. Как не наша стала. Чужая. Будто и не тут родилась. Первой не поздравляется. И говорить как-то по-другому стала.

А Таня всю войну прослужила в метеорологической службе. Они с Леонидом и поженились на фронте. В Польше. Расписались. Он — летчик, не хотел откладывать на потом. Каждый раз мог не вернуться с вылета. Командир полка выдал молодоженам подтверждающий документ, что они в законном браке. С печатью и росписью документ.

Обоих уже в живых нет, а бумага сохранилась. У меня в Надыме в шкафу лежит до сих пор. Для чего храню, и сама не знаю.

Любила я Таню очень...

Не стало у нас коровы Ранетки, прошло какое-то время, мама сильно заболела.

В войну какое питание? Вот и сказалось... И о Сереже неотступно она думала: где он, что с ним? Не случилось бы самого страшного...

Уже лежкой лежала. Врач посмотрел, послушал и говорит папе:

— Хочешь, чтобы Раиса Федоровна была живая, усиль питание. У нее слабость от недоедания. Молочка бы...

Шумилина Василиса родом из-за Волги, с Бестужевки. К ней родные из села привозили зимой на санках, а летом на лодках молоко, тыквы, смородину. Торговали потихоньку.

— Коза нужна, — говорит отец. — Помоги купить.

— Ладно, поспрашиваю, — отвечает Василиса.

На другую неделю родственница ее приехала тыквами торговать и ведет на веревочке козу. Черная коза такая. Нам подсказали, чтобы молоко было от черной козы. Полезней. Она черную и привела.

Появилось молоко, мы стали то лапшичку, то кашку манную варить. То так мама попьет. Яички на последние деньги покупали. Поднялась мама. Стала потихоньку ходить. Эту козу Маню она так полюбила, так потом ее берегла...

Разговаривала с ней. Они умные, козы-то. И чистюли. Вот откуси сначала кусок сама, а потом дай ей. Так она аж губы скривит и отвернется. Видал, какая?!

В войну под нашим бугром нефтебаза была. Часто там либо солярка, либо бензин попадали в Волгу. Сильно рыба пахла. С баржей качали мазут, керосин, машинное масло, бензин в баки, потом в цистерны. И везли куда надо — на войну.

Ребята рыбачили подальше от нефтебазы.

Володя летом спал на сеновале, чтобы не тревожить нас утром, когда уходил на рыбалку. Вечером нароет червей и махнет, едва солнце появится.

Папа все шутил: “Смотри, промысловик, утонешь — домой не приходи!”

Часов в восемь-девять утра Володя уже рыбу несет. Кукан до самой земли висит. Подкармливал нас сорожкой, густерой. Папа не рыбачил, Слава тоже. Сережа на фронте.

На папе много держалось в доме. На рыбалку у него здоровья не хватало.

Летом мы мясо не видели. Какое мясо? Суп варили с яйцом, картошкой, луком. Бочку из-под огурцов после зимы папа пропарит, чтоб не пахла, и делали квас. Восемь ведер. Мама умела готовить квас хороший. Хранили его в погребе. Погреб набивали снегом, сверху насыпали опилки. Если отец курицу зарежет, то сразу сварит, покруче посолит. И бульон готов. Из бульона потом суп — пожалуйста.

Керосин бывал очень редко у нас. Летом варили на таганке: круглое кольцо такое из железа и три ножи. Все во дворе, на свежем воздухе. Многие в Батраках так делали.

Поселок Батраки потом в 50-е годы переименовали. Стал город Октябрьск. До того был районом Сызрани.

Со спиной у папы полегче стало. Но сердце – никудышное. По дому полно работы, а он не больно мог.

У нас во дворе большой чурбак стоял. Вместо стула ему служил. Сядет на него, выпрямив спину, и рубит дрова. По-другому не мог.

Недалеко от нас была сапожная мастерская. Папа устроился туда ночным сторожем. Как устроился? Маму оформили, а он ходил.

Я раз пошла к нему за ключом от сарая, с собой унес. Зашла, а он лежит на полу без сознания. Дверь открыта. Изнутри крючок накинуть не успел. Сколько так лежал, неизвестно. Я в рев. Он очнулся, еле его подняла. Долго сидел, потом потихоньку пришел в себя.

Мама в тот день утром, до того, как такое случилось, за завтраком говорила:

– Ох, не к добру. Повержилось мне ноченькой, будто домовой в углу за печкой хлопотал. Шапку одевал все свою. Она сползает, а он одевает ее... И все никак у него не получается. А потом, когда я уж вроде совсем заснула, подошел он и погладил меня рукой по голове. Легонько так. Седой весь и сухонький такой. А рука холодная у него... Не случилось бы чего...

– Будет городить-то, детей пугать небылицами. К тебе одной он только и приходит.

Мы, ребятня, слушали и посмеивались. Папа видит, что нам весело становится, добавляет очень даже серьезно:

– И то! Аксюте вон с Муранки, сказывают, домовой наемни пятаку прострелил. Оттого она и хромает. Не тебе одной внимание... За дело, значит. Не будет ворожить больше. Говорят, обернется свиньей и шастает вдоль дворов. Кругом колдуньи развелись...

Так утром было, а вечером вон как получилось. Не к добру посмеялись. Верь – не верь. Что хочешь делай!..

Привела я папу из сапожной домой. Он с Надей остался. Мы с мамой пошли сторожить мастерскую.

Потом он говорил маме:

– Не дай Бог, кто бы вошел тогда, взял чего. Там же инструменты, кожа, обувь. Мы бы за все не расплатились. Что делать-то?

Мама в ответ:

– Детей поднимать надо. Пойду работать я. Будем больше огородом заниматься. Как-нибудь. Что ж теперь: закрыть глазки да лечь на салазки? От сапожной придется отказаться.

– На тебе и так столько, ты ж не коренная баржа, – убивался папа.

Поступила мама в швейную мастерскую. Недалеко от нас. Маскхалаты шила для фронта, рукавицы. Там работает, придет домой, дома шьет. Кто с каким заказом придет, то и шьет. Работала ночами.

Купили лампу керосиновую. Вешали ее на крючок к потолку. Называли мы ее “молния”.

Досталось маме с этим шитьем. По дому прибрать, сварить, накормить всех. Где столько времени взять? В постоянном недосыпе ходила.

Папа очень переживал за нее. Тогда мы, ребятня, почти совсем не болели. Будто знали: кому за нами ходить? Я вот на старости теперь думаю: за что папе судьба такая? Никого не обворовал, никогда не посягал ни на что. Смирно жил и работал.

У нас и фамилия сама за себя говорит: Смирновы. Смирненные, значит.

Папа стал ходить по деревням соседним. Заглянет во двор, спросит:

– Посуда худая есть?

– Ой, да полно. И тазы, и кастрюли!

У него племянник в Сызрани в жестяном цехе на железной дороге работал. Обрезки жести, которые на выброс, приносил моему папе. А он: все в дело.

Зима наступила. Папа свою поклажу на салазках начал возить. Тридцать километров в один конец. Так вот пропитание и зарабатывал. Ведро починит: картошки насыплют. Кастрюльку заклепает: капуста дадут. Однажды он заработал аж мешок картошки и ведро кислой капусты.

Утром рано вышел домой. В начале марта дело было. Повалил мокрый снег. Пять шагов пройдет с салазками, спереди них куча снега. Рукавицами разгребет, дальше путь торит. До самого вечера, целый день шел с грузом своим.

Около нового вокзала, где Надя работала, стояли одноэтажные бараки. В одном из них контора ее была. Папа потом говорил:

“Ташился и думал: Господи, помоги мне, чтобы я застал ее на работе. Не ушла бы домой. Упаду и не встану”.

Совсем обессилев, оставил салазки метрах в двухстах от бараков. Когда вошел в контору, Надя ахнула. Лицо у папы бледное, сам шатается. Еле шевеля губами, говорит:

– Иди, помоги! Шут с ними, с продуктами. Салазки упрут. Жалко.

Эти салазки он сам делал. Полозья железом оковал. Спереди и сзади перекладинки. Все чин-чином. Веревка крепенькая, беленькая. Такая, чтобы на шею и подмышки хватало.

Пришли они: салазки с поклажей на месте. Впряглась Надя. Говорит:

– Садись на мешок с картошкой.

– Ну да! – отвечает. – Надрывать будешь. Я уж как-нибудь сам.

Палкой уперся сзади в салазки:

– Ты только потихоньку, ладно? Чтоб я попевал.

Добрались до барака, он совсем обессилел. Три дня не вставал. И потом долго болел. Говорил, что пожадничал с картошкой да капустой-то...

Картошка, тыква, свекла, огурцы – основная наша еда. Она нас спасала в войну. Хлеб если был, то по карточкам. Я все нормы хлеба, кому сколько, помню до сих пор. Может, помню оттого, что он, хотя с переборами, но был. Остальное: сахар, масло, пшено – на них карточки давали, а сами продукты – кой-когда... Если два месяца карточки из-за отсутствия продуктов не отовариваются, их выбрасывай. Они уже не действуют. Через два месяца может быть та же история. Оттого и не помню нормы. Никакую крупинку от продуктов не выбрасывали. Папа сделал ступку, пестик из дубового полена. Все отходы дробили и – в дело. У нас на огороде перестала родиться картошка. Земля выдохлась. Решили сеять рожь. Рожь высокая уродилась, красивая! Непривычно.

Папа смастерил мельницу. Сыплешь рожь, мука на глазах получается, только не ленись: туда-сюда двигай большой такой, с двумя ручками, валик. Он движется по широкой лавке, обитой железом. Муку сметаешь в банку. Она тут же, прикреплена внизу лавки. Рожь убирала серпом. Солому соседка порезала помельче, обдала кипятком и – своей коровенке Зорьке скормила.

Но без картошки никуда. Решили мы ее сажать на целине. С ней целая история вышла, с картошкой-то... Расскажу потом.

Спичек часто не было. Особенно в начале войны. Спичек нет, а огонь нужен. Папа смастерил малюсенькую коптюшку, размером с палец. Сделал фитиль из ниток от чалки и водрузил коптюшку в печке на загнетке. Там эта коптюшка и хранила огонь. Светился камелек!

Если были спички, их продавали не в коробках, а по сто штук, пучком связанными. С такой ленточкой, о которую ширкать, чтобы спичку зажечь.

Мы звали папину коптюшку “мышинный глаз”, а папа уважительно: “огниво”.

Он сам следил за огнем. Никому не доверял. И расход керосина сам контролировал. Керосин тоже редко был в продаже.

Этого не было, того не было. Многие страдали, не выживали. Но у нас был наш папа. А у других – отцы на фронте. Вот в чем беда-то: без отца жить.

...Дали нам от собеса землю под картошку. На бугре-то целина-матушка. Пырей один растет. Копали, копали. Умаялись. Папе копать тяжело. Мы пыхтели: Слава, Володя и я. Сели отдыхать. Папа говорит:

– Пройдусь вдоль сада, вон на тот край.

Взял тонкий прутик. Пошел. У него привычка такая, когда идет, вжикает эдаким прутиком.

Скоро вернулся:

– Дураки-то мы какие. Чего мы тут мучаемся? Там земля-то! Я ткнул прутком, он чуть не на четверть влез!

А мы вскопали уже сотки две, а то и больше. Бросили. Пошли за ним. А там, пока шли, травка такая... Она с весны еще выколосится и быстро сохнет. Колочая – страсть! Ступить нельзя. Пока добрались, все подошвы горят. ...Соток десять мы вымахали. Квадрат такой получился, вскопанный.

Пришли, маме рассказали, а она:

– Что сажать-то будете? Семена – не купишь.

– Думать надо, – отвечает папа, – может, что из одежды на толчок?

А мама уже все наши тряпки старые поперешила. Меняли их, меняли. Кончились.

Она говорит:

– Всего двести рублей осталось. Езжай в Обшаровку, купи, сколько можно, семенной картошки.

– Сколько я куплю на такие деньги, – чешет папа затылок, – не больше ведра...

– Сколько купишь, столько и будет. Остальное морковью засеем.

И мы подались с папой на базар. Он любил меня брать с собой.

Чтобы рано быть на месте, мы поехали с ним вечером. У папы в Обшаровке знакомые были. Переночевали у них. На полу нам мягко постелили. Когда встали, папа говорит мне:

– За ночлег им кусок мыла, что ли, дать?

– Дай, – говорю, – еще когда-нибудь приедем, где ночевать?

Мыло он сам варил. У машинистов-паровозников покупал каустическую соду, которую они добавляли в котлы от накипи, а на рынке доставал баранье сало. Кипятил все, а потом в самодельные жестяные формочки с перегородками разливал. Когда масса застывала, формочку опрокидывал – из нее вываливались кирпичики мыла.

Папа дал один кусок хозяйке, один оставил себе.

Она:

– Ах, Петр Андреевич! Мыло-то мы так давно не видали. Теперь намоемся в бане.

– Ты его подсуши, – говорит он, – а то слишком мягкое, быстро смылится. Моя Рая на печке сушит.

– Это уж обязательно. Хорошо, что подучил. Рада-то как я!

Пришли мы с папой на базар. В кругом полным-полно народу. Мыло мы сразу продали потихоньку. А вот семена картошки никак не купим. Дорогая картошка. Не хватает денег даже с теми, которые он за мыло выручил. Я уж не помню, сколько это было.

...И вот стоит женщина. Рядом – ведро картошки. Проросла вся. Росточки бледненькие такие.

Папа спрашивает:

– Почему горох-то твой, хозяйка?

– Не горох, а картошечка, дедушка.

Папа всю войну с бородой ходил. Поэтому она его дедушкой и назвала.

– Это “смысловка” – самый хороший сорт. Я набрала, когда уже все выкопали. С корней добирала. Вишь, пролежала до весны и сразу проросла. Липучая – страх! Ни один росточек не обломался. Бери! Не пожалеешь. Большой смысл есть. “Горох”, скажет тоже!..

Говорит так и говорит, себе в удовольствие.

– А сколько ведра?

– Двести рублей.

– А у нас всего-то двести! – удивилась я.

– Ну, вот, видишь? Все в кон!

– “Смысловка”? – улыбается папа. – Смысл есть? Проверим, куда нам деваться?!

Пересыпали мы картошку в свое ведро. И поехали домой.

– Ба, что это за мелочь? Никогда такую не сажали! Учудили вы, не соскучишься, – мама долго не могла успокоиться.

Папа молчал себе.

Одного ведра наших семян хватило на весь участок. Мелочь. Сначала в лунку по одной клали, потом даже по две.

А к сентябрю такая картошка вымахала! Тогда вовремя дожди прошли. “Смысловка” так “смысловка”! Очень крепкие корни у нее!

И какая уродилась вкусная, белая. Рассыпчатая. Шесть больших мешков набрали! Возили мы ее на нашей тележке. Пустую тележку в гору – еще так-сяк, не очень трудно тащить. А вот с горы, с нашей поклажей такой, удержать тележку нелегко. Того и гляди вырвется. Махнет вниз!..

Воду до 30-х годов брали из Волги. Кипятили. А потом на берегу, где городская баня, около нефтебазы, поставили водокачку. Будочка такая, как домик, на колесах. Вода уходила, будочку за ней подкатывали. Эта водокачка качала воду на все Батраки. И на улицах были свои будочки. В коммунальном отделе покупали талоны на воду. Один талон – 25 литров воды. Ее тоже кипятили.

Давали по часам: утром два часа, в обед – два, вечером – два часа. Занимаешь очередь у будочки, подаешь талон в окошечко. Открывают тебе краник. Наливаешь.

Без талонов воду не давали. Мы ходили за ней со своего бугра почти за километр. Так было в войну.

Потом уж, когда ГЭС Волжскую построили, нашли артезианскую воду. Уровень воды в земле поднялся или научились бурить? Только тогда колонки с этой водой появились прямо на улицах.

Около больницы поставили колонку. И еще ближе к нам соорудили потом.

Война давила. По мосту через Волгу к нам шли поезда с ранеными, эвакуированными. А на фронт – составы с горючим, боеприпасами, танками.

Великое противостояние. А мы копошились около. Выживали.

Помню время, когда кроме хлеба по карточкам ничего не давали. Было написано: сахар, масло, рыба. На бумажке этой. А так – не было. Потом полегче стало.

...Тем, кто занят на тяжелых работах, тому положено было в день 800 граммов хлеба. Служащим – 550 граммов. Пенсионерам и иждивенцам, по-моему, 250 граммов. Вперед по карточкам хлеб не давали. Надо было приходиться в магазин каждый день. На карточках был номер магазина, к которому прикреплен. А хлеб привозили когда как. Иногда только к обеду. Пекли недалеко, в пекарне. И на лошади, еще горячий, только из печки – в магазин. Занесут его, дух хлебный по магазину. Стоишь, и голова кружится.

Старшая сестра Надя получила на нас всех карточки на месяц и отдала папе, когда он зашел к ней на работу. А они как деньги были, лощеные такие. Как десятки, розоватые. Он их положил, карточки эти, в карман. И пошел домой.

Мы обычно разрезали листки с карточками подекадно. Чтобы, если потеешь, то не сразу все. А тут не успели. И фамилии не написали.

Положил он их на стол, карточки. Мама стала смотреть:

– А, батюшки, где же еще? Тут всего на четверых?

Нас шестеро было. Сережа и Таня на фронте.

– Отец, где карточки-то еще на двоих?

Беда!

Пошел он назад. Нет, говорят конторские, не видели. Никто не приносил.

Мама:

– Не мог толком объяснить! Может, другие дали бы.

– Что ты говоришь? – отвечает папа. – Посмотри, что творится на мосту, на железной дороге. Беда какая! Сколько раненых везут. На мосту такое движение. Летчики не только мост, они нас защищают. Вчера один не пожалел себя. Тараном пошел на фрица. А тут я, растеряха: “Дайте мне еще!..” Не должен я никуда идти!.. Хлебушко даром не дается.

Так он расстроился. Плохо ему стало. Залез на печку и лежит.

Стали обедать. Зовем его. А он:

– Не буду я есть. Сам себя наказал. Потерял. Как же я могу?

Мама начала причитать. Мы расплакались. Стали ее успокаивать. Еле еле папу уговорили сесть за стол.

Прошло три дня.

И вот тетя Паня обратила внимание на двух женщин.

На дороге работали рабочие. И чтобы они подолгу не ходили и не стояли за хлебом, им его носили эти две подруги. У каждого из рабочих была своя

сумка с биркой. Женщины каждый день получали и носили хлеб в этих сумках. И себе заодно брали по карточкам.

А тут наладились дополнительно брать. Сами отрежут талон от карточки:

– Вот, нас бабушка одна попросила, ноги не ходят. Отпусти!

И возьмут хлеб-то. В другой раз еще как-то скажут. Наплетут.

Мама сказала тете Пане о пропаже, она и спрашивает их в очередной раз:

– Откуда у вас карточки эти? Дополнительные.

Они замялись. То да се.

Тетя Паня:

– Петр Смирнов потерял карточки. Такой больной весь. И ртов сколько!

Что же вы делаете? Нехристи! В милицию заявлю, коли не отдадите!

Они и закатили глаза под лоб. Признались, что подобрали их на тропинке.

Тетя Паня отдала мне карточки. Я бежала домой, ног не чуяла. Ой, как хотелось папу обрадовать. А то он, бедненький, только делал вид, что ест. А сам так, для отвода глаз...

В то утро принесла я из магазина хлеб. Мама разрешила буханку, а из нее на стол вывалились, чуть больше горсти, мелкие, малюсенькие картофелины. Сырые. Жижа течет. Мать в слезы: “Чем я вас кормить-то буду? Карточек больше нет”.

Я собрала все в кучу и – к тете Пане в магазин.

– Такие-растакие, я им покажу! – грозилась она. Дала мне взамен полбуханки, а сама – в пекарню. Разбираться мыкнулась.

Хлеба и так чистого не было: то в нем лузга от овса, то от пшена, красная. В пекарне воровали, конечно. Один Бог без греха.

Установили контроль. Сообщили куда следует, и там меры приняли. Галя Краснова через неделю и попала. А как дело было?

У нее две девочки-погодки. Муж на фронте. Привязался к ней со своими ухаживаниями милиционер Генка Ладяев. Дороги не давал. Я слышала, как она жаловалась моей маме: “Все ноги мне оттоптал. Не знай, что делать? Стыдно перед девчатами своими. И боюсь его. Страшает: не будет по его, мне несдобровать”.

Выполнил обещание Генка этот. Остановил он ее, когда она с работы домой шла. Поманил пальцем. Она подошла.

– Чевой-то у тебя в сумке-то? – спрашивает.

– Где? – перепугалась до смерти Галина. Поняла, что плохи дела.

– Где, где?! Сказал бы, где!.. В сумке, которую у тропки схоронила. Не твоя, что ли?

Пошатнулась Галя. Повяло ужасом от той кары, которая на нее вот-вот обрушится. Потемнело в глазах. Испугалась, что сейчас тронется умом. Станет еще более жалкой и мерзкой, чем этот неуступчивый блюститель порядка.

Затравленно оглянулась. Будто ждала, что кто-то подойдет сзади к ней по этой узкой тропинчке, на которой она встретила с человеком в форме. Заступится за нее. Сейчас! Немедленно! Пока не случилось самое страшное, скажет слова, оправдывающие ее.

Но кто мог подойти и сказать такие слова? И были ли они у кого тогда... такие, кроме нее самой?..

– Пристроилась коза к возу с сеном, – радовался своему Генка, – хорошо в пекарне?

Он обошел Галю, поднял и вывернул сумку. А в ней кусок теста. С кулак всего-то, ну может, поболее...

– Как жеть, милая, тебя угораздило?

Говорил так, а у самого морду на урыльник свело.

– И теперь не согласна со мной? Не поздно еще...

– Только подойди ко мне, зверь! – еле и сказала она.

Осудили ее.

Потом за что-то еще добавили, там уж, где сидела.

Муж не вернулся с фронта, погиб. Девчата выросли одни. Обе больные.

Паня все корила себя, что побежала тогда в пекарню, когда картофелины в буханке обнаружили. Считала за собой вину. Все говорила: “От дождя да в воду”. Девочек Галиных привечала и помогала им, чем могла.

Потом они ее, мать-то свою Галю, нашли. В Сибири где-то. Не помню, где.

Возвращаться домой Галя не захотела. Не ходячая уже была. Только мотнула еле послушной рукой:

– На кой мне теперь это?..

...У нас в саду яблонь не было. Одни груши и тернослив. Папа вдоль забора оставил их. Всю войну – на деревьях ни одного цветочка. Только листья. Сама природа плакала от общего горя.

Кончилась война. Хорошо все помню. Как сады зацвели весной сорок пятого! Цвети они начали перед первым мая. Теплынь такая наступила. Все деревья цвели! И груши наши, и вишня. И яблони, у кого были. Все бело-розовое! Выйдешь на крыльцо: аромат, как в раю каком! С такой силой ожили.

Первого мая папа говорит:

– Наверное, война последние дни идет. В Берлине переговоры.

А девятое настало: победа! Словами не передашь радость!

Когда война закончилась, на строительство дороги Куйбышев–Москва пригнали пленных немцев. На асфальтовом заводе три дома трехэтажных было. Жили там местные. Магазин рядом. Мы ходили иногда за покупками. Такая грязьца кругом, ужас! Как жили?

Немцы чистоту навели. Дом, в котором они размещались, побелили. Держали их за тремя рядами колючей проволоки под охраной. И на работу возили под охраной.

Рядом клены здоровенные росли. Они у кленов этих стволы побелили. Землю вокруг вскопали, цветочки посадили. Простые: ноготки, еще какие-то. Против прежнего там рай стал.

Дом стоял торцом к дороге. Написали на стене черными буквами на белом: “Мы победили!” Все идут и смеются: “Они победили?”

Одноклассница Надька Петрунина принесла в класс фотографию немца. Молоденький совсем, а рядом сестра и мать его. Пленные немцы на свои фотографии хлеб выменивали. Больше у них уже ничего не было.

Говорю Надьке:

– Зачем тебе его фотография? У него она: память. Лучше бы уж дала хлеба так, без ничего.

– Мне его жалко, – отвечает, – он сказал, что не по своей воле пошел воевать. У него глаза такие: я верю, он хороший. Еще говорит, что скоро умрет. Просил очень сохранить фотографию. Если родственники будут разыскивать его когда, показать ее. Я обещала. Он так верит, что все образумится. Придет время, когда войн совсем не будет. А будет общий мир! Люди поумнеют. Только, сказал, уже без него. Видишь, на обороте его имя есть.

Мне захотелось посмотреть на этого немца. Мы с Надькой пошли к бараку. Но поздно. Скрюченный весь, глазастый немец сказал, что Вернер ночью умер. Закопали его в овраге. Там рядом этих оврагов было полно. Зима. Метель. Пойдешь, что ли, туда? Страшно...

Уже летом пошла я козам за травой. Смотрю, в овраге такая она зеленая. Я с мешком и серпом – туда. Только спустилась, как заору. Бегом оттуда. Выбежала, вся трясусь. Там внизу скелет человека лежит. Видно, зимой долбить пленным тяжело было землю, слабые. Вот они его в снег и закопали.

Выбежала я наверх с пустым мешком и серпом. Еле отдышалась. Стою, не ухожу. Смотрю и смотрю туда, в овраг. Толкает меня еще посмотреть. Спустилась. Лежит. Все кости целехонькие. Когда пришла, рассказала Надьке. Втемяшилось ей, что это Вернер. И все тут. Сильно плакала. Ходила в этот овраг без меня. У нее брат родной без вести пропал на войне. Может, оттого она так...

Потом уж, когда я в собесе работала, приходят двое мужчин к главбухше нашей:

– Вы, – спрашивают, – когда здесь пленные немцы были, работали при них?

– Да, – говорит, – работала. В трудовой книжке запись есть.

– Можете показать, где их хоронили?

– Конечно, – отвечает Ксения Ивановна. Ходила, показывала.

Она потом говорила, что в Германии ищут своих. Вот и приехали эти двое. Вот бы фотографию Вернера показать. Да Надькин след простыл. Уехала куда-то. А куда, никто из нас не знал.

Потом комиссия работала. Говорили, что вроде нашли захоронений одно количество, а по документам – другое. Несоответствие большое. Известно, как хоронили.

Кто кого у нас больно считал? И наших, и не наших...

На нефтебазе то ли бензин, то ли солярка при перекачке попала в Волгу. А рядом асфальтовый завод. Там овражек небольшой такой от реки шел. На заводе два катера было: “Петрович” и “Звонкий”. Говорили потом: один из команды “Петровича” возился с двигателями, разогрел или что. Уже осень была. И бросил факел в воду. А может, окурок... Волга и вспыхнула. Многие погибли, кто рядом был. Тогда взад-вперед суда ходили. Кругом копошились люди. Мне сверху видно, я ботву на огороде убирала. Зарезво полыхало без краев. Пристань стало не видеть. Бросилась туда:

– Папа, папа! Миленький, только не попади в огонь! Боже сохрани! Тебе и так хватило!

Беги и молюсь. А пионерка! Бога зову в помощь. Потом и слова пропали. Только мычу.

В этот день папа на дебаркадере стекла менял. Попросили – он не отказался. Прибежала на пристань, а он целехонький. Только чумазый весь, народ спасал, как мог.

Пострадало, не знаю, сколько. Много. Брат Володя только вечером пришел с Волги. Принес собачонку. Мужчина и женщина на дощанике плыли. Он и вспыхнул, дощаник этот. Оба погибли. Погибли они, а собачонка осталась целой. Он принес ее, а мама против.

– Мам, ну ладно тебе, она много не съест. Пусть живет, спаслась ведь! Уговорил. Согласилась мама.

Долго собачка у нас жила. Мы ее Жучкой звали. Потом Жучка оценилась.

Один щенок гладкий такой был, на коротких ножках. Шерсть жесткая, жесткая. Ясочкой назвали. Больно уж трогательный. Второго машиной задавило, совсем еще маленького. Я его не очень запомнила, какой.

Ясочка в будке жил. Весной во дворе грязь.

Чуть подохло, куры начали выходить на теплынь. В сарае дырка сделана. Они туда-сюда, сами заходят-выходят. Уже близко к Пасхе, а яичек совсем мало.

Сидим, обедаем. Папа говорит:

– Мать, а мать, ты яички-то больно не расходуешь. К празднику побереги.

– А я и не расходую, – отвечает, – вон иногда одно в кашу разобью. Не несутся чтой-то.

Прошло дня три. Надя идет с работы на обед, Ясочка вылез как-то бочком из будки, остороженько. Встречает. Она гладит его, а он смотрит на нее внимательно, будто сказать что-то хочет. Надя говорит маме:

– Что-то у нас Ясочка сам не свой, озабоченный какой-то? То общительный всегда, а теперь?

А мы все так любили своего Ясочку. Характер у него мягкий, приветливый. И мама заметила перемену:

– Не заболел ли? – отзывается. – Пойду, посмотрю.

Собрала со стола остатки. Понесла ему. Я с ней. А Ясочка виляет хвостом. Как будто заманивает к своей будке. По кругу ходит.

Мама удивилась:

– Да что с тобой творится?

Подошли с ней поближе, глянули в будку. А там яички, поболее десятка.

Куры облюбовали местечко, а он им не стал мешать. Наоборот: бочком-бочком проходил в будку на свою лежанку. Так же бочком и выходил. Получается, за сторожа был. Подошла и Надя, забрала яички. Папа говорит ей:

– Хорошо, что ты надоумила нас посмотреть. А то бы он, как наседка, взял и высидел бы нам цыплят. Вот квочка была бы!..

...Помню, папа взялся в сорок седьмом караулить картошку на собесовских делянках. Попросили. Сделал шалаш, настелил в нем сухого сена. Посередине шалаша была траншейка, в нее по двум ступенькам надо было спускаться. А по бокам от траншеи этой, влево-вправо, получились лежанки, удобные такие. Дверь папа какую-то старенькую принес. Приладил. В самый



сильный дождь было в шалашике сухо. А когда солнце, укрываться в нем от жары – красота!

Мама перловку сварила.

– Нате, отцу отнесите на завтрак.

Мы с Володей взяли глиняную чашку с кашей и пошли.

Пришли. Папа сидит. Правая рука у него до самого локтя покраснела. Инда смотреть страшно. Всю ночь, оказывается, не спал. А получилось как? Днем он жал серпом пырей, мозоль образовалась. Как прорвало, видать, грязь попала, пошло воспаление.

Уговорили пойти в больницу. Его тут же и положили. Около месяца пробыл там. Видно, когда резали, сухожилие задели. Палец безымянный не гнулся потом у него всю жизнь.

Вместо отца, пока он в больнице был, мама караулить огороды нас с Володей отрядила. Иногда Егор Пуговкин наведывался. Его участок с картошкой был недалеко от нашего шалаша.

...И вот уже смеркается. Володя спит. Я слышу шум какой-то. Кто-то ходит, а я выглянуть не тороплюсь.

А тут дядька Егор кричит со своего участка:

– Марья! Вы чего дрыхнете? Из-под носа картошку воруют, а вам хоть бы хны!

Ой!.. У меня сердце заметалось. “Воруют”. Как же? Что же? С ворами-то впервые столкнулись, вот так напрямую... Выскочили с братом наружу. Чуть кондрашка не царапнула. Смотрю: один, второй... четвертый... Их сарынь целая. Человек семь нагрянули. Ухачи! У меня волосы дыбом!.. Ай, батюшки, что же делать?! Ладно, Егор подоспел, а тут объездчик на велосипеде – Федька Маслов. Колхозные поля проверял.

Увидев такое дело, воришки остолбенели:

– Ой, только в милицию не сообщайте.

Оказались они из сызранского ремесленного училища. На плотников учились. Все из окрестных деревень. Родители далеко. А есть хочется!

Непохожие на хулиганов. Молоденькие совсем еще.

Егор им:

– На первый раз прощаем. Только марш отсюда! По-быстрому!

Они гуськом и побежали. Смехота! Теперь, в наше-то время, разве кого напугаешь так?

Я после уж снова вышла из шалаша, а они всей гурьбой копаются у дядьки Егора в огороде. Пошла к ним. А он им разрешил картошки у себя накопать. Они уже, как свои: “Дядя Егор, дядя Егор...” И потом, когда убирали картошку, трое приходили помочь. Дружба у нас завязалась с ними. Один, белобрысый такой, Митей звать, из Кануевки оказался, где дядька Егор родился. Земляки!

Брат Слава после седьмого класса пошел учиться на столяра. Пока учился, сделал для дома и стулья новые, и тумбочку. В жизни ему умение это потом крепко пригодилось.

После училища работал в вагонном депо. Ремонтировал вагоны. Зарабатывать начал, полегче стало.

Поступил в машиностроительный техникум. А с третьего курса взяли его в армию. Три с половиной года отслужил на Охотском море. Вернулся. В техникум берут его только на третий курс. “Не пойду, – заявляет нам, – лучше работать устраюсь. Несправедливо, я до армии весь третий курс проучился. В апреле призвали. А меня опять на третий?”

Папа ему всякие доводы приводил:

– Мне инженером не удалось стать, так ты, может, будешь. Какой размах на железной дороге!.. Вон Борис Бещев (тогда министр путей сообщения. – **Прим. авт.**)! Разве не пример?.. Сирота! Сначала братья помогли. Потом – техникум, затем – институт...

Еле убедили Славу вернуться к учебе.

При эвакуированном из Минска машиностроительном заводе был этот техникум. Слава окончил его и стал специалистом по резке и сварке. Голова у него светлая. В Киев к Патону ездил учиться этому мастерству.

Как-то быстро поставили его начальником конструкторского отдела на заводе. Дальше собирался учиться в институте на заочном отделении. Да спеш-

но так женился. А потом дом затеял строить. На том же позьме (земельном участке), где и наш общий дом стоял. Сруб сообща помочами поставили. А после он почти все вершил один.

Володя сразу после армии женился. У каждого свои заботы. Помню, помогал он Славе всю неделю вечерами и весь выходной. А у самого дом без крыши. Замотался. И говорит:

– Меня не хватит на все. Пускай рабочих нанимает.

А как нанимать? На какие денежки? Ушел, а сердце не на месте.

Говорит мне:

– Пойдем вдвоем, помочь надо.

Всего-то часа два его не было со Славой. А Слава тяжеленную потолочную матку на стены один поднял. И все. Не до строительства стало, не до учебы... Надорвался. Всю потом жизнь страдал.

И Володя мучился. Корил себя, что так вышло.

...А тут у Володи затемнение в легких обнаружилось. Врачи допекли анализами. Таблетки не помогают, а с операцией тянут. Володя худел на глазах. Пришел к нему в палату Слава, принес термос китайский.

– Будешь есть, болезнь пройдет. Решайся!

– Что это?

– Собачье мясо. Надо бы барсучий жир раздобыть, да где? И времени нет...

Стал Слава ему это мясо приносить, а Володя послушно ел. Вскоре ушел из больницы домой. Жена Лена стала готовить мясо. Съел целую собаку и пошел к врачам на проверку. Никакого затемнения в легких. Будто и не было ничего. Чудеса прямо!.. Везучий наш Володька.

Сейчас ему уже за семьдесят. Рыбачит с племянником на Волге. Не одни – с помощниками. Часть улова они по норме сдают хозяину, остальное – себе. Тем и живут.

Помощники часто меняются, пьют. Володя с Андреем замучились с такими работниками...

Спрашиваешь: было ли свободное время? Днем, конечно, не было. Придешь из школы: то воду таскаешь, то полы моешь. Или на огороде возишься.

А я так любила слушать радиопередачу “Театр у микрофона”. Приглушу динамик, чтоб не слишком громко было. И слушаю себе.

Театр меня завораживал. Толубеев был, Хохряков. Царев был. Какие голоса! Чудо! Пьесы Чехова были. У меня такое воображение, я все представляла себе. Как и что! И “Вишневый сад”, и “Три сестры” слушала. Оперетты любила. И поют, и говорят в них.

Мама бывало:

– Спи, завтра чуть свет разбужу!

И будила. Особенно летом рано вставала. Коз надо в стадо сгонять.

Я смотрю: как теперь все изменилось.

Раньше, казалось мне, в три часа уже светало, а сейчас только в пятом часу начинает. Земля, что ли, у нас теперь не так крутится?

Вот “Театра у микрофона” не стало. Да что я говорю? Самого радио, какое раньше было, не стало. Куда дело годится?

...В техникум тогда поступали после семи классов. Подруга Надька сразу решила подавать документы. Моя сестра Надя уже работала. Я заговорила про учебу в Сызрани. Она:

– На какие деньги ездить туда? Работать надо.

Я упростила попробовать сдать экзамены в медицинский. Если без троек сдам, будут давать стипендию. Другое дело!

Училась я в школе без троек. Сдала все вступительные экзамены на четверки, остался один: по Конституции. Ночевала я в Сызрани у Надькиной тетки Гани. Переночевали и отправились на экзамен. Народу тьма. А мы голодные. Я так перемучилась. А тут мне какой-то мужик вредный в комиссии попался. На первый вопрос я не ответила. Мне он хлоп – тройку и поставил. Прошу, чтобы меня еще поспрашивали, ни в какую. Все, стипендии не видать!

Однако два месяца я ездила на занятия. Сестра Надя замучила:

– Давай бросай, давай бросай!

Я и сдалась. Она меня тут же устроила быстренько. На склад уголь учить в Обшаровке. Еще надо было табели вести, графики работы грузчикам составлять. Работали грузчики угля в три смены. Среди них Хохлов Артем – вертлявый такой был. Все ему надо.

– Ты, – говорит, – над бумажками сидишь, уголь учишь. А не знаешь, какой он бывает.

– Как так, не знаю? – отвечаю. – Ошибаешься.

– Знаешь? Сейчас проверим.

Ушел. Через некоторое время принес в барак четыре куска угольных. А у нас тогда уголь был прокопьевский, блестящий такой, карагандинский – тусклый и антрацит. И еще бурый уголь. Его плохо машинисты брали.

...Платформы стояли, он и набрал. Я все назвала правильно, по маркам. У грузчиков лица вытянулись.

Любопытная была, давно уж все пощупала своими руками. Эшелон ведь за эшелонам шли. Октябрьск всю жизнь свою связан с транспортом, а жизнь нашей семьи – с железной дорогой и Волгой. Через Октябрьск переваливали истари лес, зерно. Он соединяет Европу с Азией: и мостом, и железной дорогой. Издавна через него возили грузы то гребными, то парусными судами, то баржами с конной тягой. А до того бурлачили... Трудяга – одно слово.

Хохлов этот, Артем, приставать начал. Подкараулит, где никого нет... И лезет со своими ручищами. Сильная была, в следующий раз не стерпела. Дала крепкий отпор. Укоротил руки, но, чувствую, что-то замыслил...

Никому пожаловаться не смею, молоденькая совсем... А тут уволилась. Взяли меня в горсобес счетоводом. Работала и бегала в вечернюю школу. Окончила 8-й и 9-й классы. И все на том завершилось мое образование. Больше нигде не училась.

Как замуж вышла, вместе с мужем стала работать. Михаил сначала был матросом, потом рулевым. Одну зиму учился, после этого на маленьких судах начал работать капитаном.

Работали вместе мы долго. Доверили ему “Агиткатер”. Плавали по Волге до Саратова, Волгограда. И обратно в Самару. На втором этаже размещался кинозал с небольшим экраном. Мы пришвартовывались к судну, и капитаны с командным составом в кинозале прорабатывали несчастные случаи, аварии на воде, приказы. Там же мы раздавали письма, свежие газеты. Михаил меня матросом устроил. Потом я согласилась еще и на повара. В команде восемь человек. Всех накормить надо. Никакой скидки не было. До того уставала. Еще счетоводом тут же.

Потом паромом с мужем заправляли. Сто пятнадцать, помню, человек вместимостью. Около десяти лет плавали. Михаил в бухгалтерии мало что понимал. Все мне сбегрил. Он и в машинах не очень... Я в этом вскоре убедилась. Часто у него ломалась техника.

В сутки только шесть часов были свободными, с двенадцати до шести утра. То варила, то кормила. То за матроса, то подсчетами занималась.

До нас перевозили народ через Волгу частники. Каждый на своей завозне. Сновали туда-сюда. Организовали паромную переправу, нас и направили. Берег левый – берег правый. Один маршрут.

Волга тогда кипела! Народищу... Подплывешь, сначала с носа чалку вовремя надо подать матросу, который на причале. Потом бежишь с кормы подавать другую. Туда, сюда. Как савраска. За вахту набегаешься... У меня до сих пор руки – мужицкие.

На Волге паромная переправа стоила двадцать копеек. Каждый вечер надо было подсчитать деньги, в кассу сдать. Путевой лист оформлять. Потом Михаил захотел, чтобы я и машинные журналы заполняла. Обленился совсем. Тут уж я в дыбошки. Ни в какую! “Машинные журналы заполняй сам!” – сказала, как отрезала. На мне еще и выдача зарплаты. Топливо на мне. Все расходы-доходы, все надо свести. Весь баланс на мне. Сводила.

Между судоремонтным заводом и элеватором в Самаре стояли два плавдома. Дали нам комнату в одном, в трюме. Окно одно, на уровне воды. Сырость, конечно. Отопление паровое. В носовой и кормовой частях – плиты. Топили углем. На них мы и готовили себе еду. В этом трюме у меня дочь Наташа родилась. Построили на Кряже восьмиквартирный дом: дали нам двухкомнатную на две семьи. Коньковы были бездетны. Так что нас пятеро

всего. Топили дровами, углем. Котел стоял. Немножко вздохнули. Когда в Сызрани бухгалтерия в порту стала расширяться, меня вызвали.

Юрий Васильевич говорит:

– Мы тебя, Вострикова, хотим в бухгалтерию перевести. В Сызрань. Как ты на это смотришь?

– Мне же тогда ездить надо из Октябрьска каждый день, – отвечаю.

– Решай! Главный бухгалтер мне рекомендовал тебя. Хорошо о тебе отзывается.

Домой приехала. Маме с папой сказала.

– Соглашайся, – говорят, – от Мишки хоть отдохнешь.

Так я освободилась от мужниной многолетней bestолковщины, вздохнула свободней. Ничего он с охотой не делал. Плавал, как жернов: столько всякого перетопил в реке. Все абы как. И злой постоянно. Кричит. У плохого мужа жена всегда дура.

Почти десять лет ездила в Сызрань на автобусе. Больше двенадцати часов в сутки меня дома не было с такой работой. Зато не на воде. Я с Михаилом плавать всегда опасалась. И за него боялась. Все что-нибудь не по-людски. Скажешь ему по-доброму. А он:

– Собака умней бабы: на хозяина не лает.

Вот и поговори с таким.

Эта вода!.. Бог меня, что ли, хранил. Два раза вылетала за борт по его глупости. Плавать-то я хорошо умела. Целехонькой оставалась, без царапинки...

А вот железная дорога меня отметила. На всю жизнь, когда еще учетчицей работала.

Шла мимо паровоза. Окалина вылетела вместе с дымом из трубы и – в глаз. Светленькая такая. Воткнулась в правый глаз прямо в яблоко. Сестра Надя, когда я домой прибежала, свернула листочек бумаги клинышком и вынула ее. Вынуть-то вынула, а глаз с той поры плоховато видит, не как левый.

...Сын Петя – грудной, а у меня молоко пропало. Чем кормить? Скорехонько козу купили, вспомнили, как маму выходили в войну. Коза Катька и стала у Пети кормилицей. Катька красивая была. Черная вся, только голова от ноздрей до рогов – белая. Она потом принесла двух козлят. Один белый, другой – почти как она, черный. Мама летом их частенько мыла. Привяжет к завалинке, вынесет таз и помоеет. Вымя Катьке каждый раз перед дойкой мыла. И тряпочкой потом протрет, аккуратненько так.

Сестра моя Таня приехала к нам из Новокуйбышевска и зазвала маму в гости к себе. Мама – к поезду, а ее три козы провожают до самого вагона. Не удержать их. Она уехала, а они, как только поезд какой на станции загудит, мечутся по двору, того гляди вырвутся.

Без мамы пригнала я коз из стада, помыла вымя Катьке и хотела подоить ее. Не далась. Одну Белку подоила, а Катька с Манькой по двору бегают:

– Ме-ме?.. – почему, мол, так долго хозяйки нет?

Мама приехала на другой день, вечером. Едва калитку открыла, они втроем к ней:

– Ме-ме, ме!.. – Жалуются.

Она их гладит, приговаривает:

– Миленькие мои, соскучились, бедненькие...

...Михаил продолжал куролесить. С людьми у него плохо получалось. Я терпела, как могла. Михаила Вострикова теперь все в порту знали. Переводили его, переводили с одного места работы на другое, а толку?

Достукался: из капитанов в матросах оказался. И все равно продолжал пить. Леня за пазухой у него гнездо свила. Что тут делать? Борис, муж сестры Михаила Люськи, развелся и уехал на Север.

А тут вернулся в Октябрьск. Зачем-то принесло его. Известно: глупый – умного, пьяница трезвого не любит. А тут оба одинаковые сошлись. В первый день с утра налупились. Два дня пили. То у нас, то у них в бане. Вдруг исчезли оба. Враз. Как дымок печной, пропали. День, второй – их нет. Дома не ночуют. Я – на пристань.

– Где Мишка?

А сменщик его, Юрий:

– Ты чего это? Проснулась? Уехал твой туповатый Востриков. Сказал: в Сургут. Поеду, говорит, себе новую биографию делать! Видала, что?

Михаил вскоре прислал письмо, две страницы наваракосил. Срочно велел приезжать. Устроился на работу. Обещают жилплощадь. Иль, пишет, всю жизнь в отцовской деревяшке хочешь прожить? Без газа, без горячей воды, с нужником во дворе? В Сызрани или Октябрьске, дескать, не дождешься своего жилья. Опомнися. Не пил бы так, глядишь, по-иному все было.

Поехали к нему. Где муж, там и жена. У нас уже были и Наташа, и Петя. Мама вздыхала: “Куда из родительского дома? К добру ли?”

Вспоминаю первый год на Севере.

Конечно, непривычно сначала. Мошки и комары... С ума сойти. Еще бы, столько озер и болот, речушек и проток.

Пришла с работы, а Петя:

– Мама, ну пойдем в лес! Сколько уж раз обещала.

Лет девять ему было. Все дни на речке пропадал. Там ветерок. Купался с мальчишками, а все в лес рвался.

Голубика поспела. Взяли ведерки пластмассовые, и пошли с ним. Только зашли в лес, мошкара тучей набросилась. Комары! Как мухи, огромные. Мы в панике назад. Выбежали на дорогу, оглянулись – огромный комариный хвост. Потом-то уж попривыкли.

Зато какие зимой гонки на оленьих упряжках на льду озера Янтарного! Вот где красота!

Вначале, как приехали, пришвартовались в пятнадцати километрах от Надьыма, в поселке. Двухэтажный деревянный дом. Отопление, плита на кухне на баллонном газе. У нас на Волге такого не было. Огородов никаких. Отдых от огородов. По дому приберешься, сварить, то да се. И только.

Воду в бойлерах привозили. Набирали ее в бочку. Большая такая, в коридоре стояла. Это не то, что в Батраках: на себе таскать на коромысле по два ведра. На гору от Волги. Иногда несколько раз в день туда-сюда. Плечи ноют. Многие по-другому на Севере.

Коренные: ненцы, ханты, манси – в основном все в охоте, в рыбалке, оленеводстве. Их всего-то, кажется, около десяти тысяч осталось, кочевых.

С тех пор на глазах моих столько перемен свершилось. Теперь в Надьыме около пятидесяти тысяч разного народа живет. А население автономного округа уже более пятисот тысяч.

Край – цены ему нет! Не зря народ прибывает и прибывает. Места всем хватит. Еще бы, говорят, в два раза больше Франции!

Не видала Францию, но все равно...

Мне бы грамотешки побольше, да годков сбросить хотя бы с десятков. Но ушло мое времечко. Дела великие вершатся! А такие, как я, недоучившиеся, где-то будто внизу, в трюме огромного многопалубного парохода, копошатся. Те, кто ученые, с высшим образованием, если бражничают, работают вполоборота, мне за них неловко, честное слово. Дела-то требуют каких усилий!

Я почти всю жизнь, до восьмидесяти седьмого года проработала бухгалтером на расчетах по зарплате. То в Сызранском порту, то в Надьымском.

Как живут на Севере? По-разному, уже говорила.

У сына Петра одноклассник был в Надьыме, Виктор. Мы жили в одном доме. Окончил он девять классов, и мать отправила его в Питер к брату. Поступил учиться в техническое училище на экскаваторщика. Там и попал в дурную компанию. В голове-то реденько засеяно. Воровать начал.

Он и раньше не больно нравился мне своим поведением. Замечала, что частенько поступал нечестно, по мелочам. Все шустрил что-нибудь. Такой вертолет! Обокрали они какой-то там магазин. Поймали. Дали ему три года. Отсидел свое. Приехал к родителям в Надьым. Нигде не работал.

Летом ночи в Надьыме светлые: гуляй хоть до утра. Муж с женой несли пиво в банке. Он с друзьями был во дворе. Отняли пиво и ушли к приятелю, который жил рядом в общежитии. Эти, муж с женой, за ними. Вахтерша видала компанию с трехлитровой банкой пива. Подтвердила. Позвонили в милицию. Когда милиционер вошел в комнату, разудалая компания распивала то злосчастное пиво.

Так как Виктор был судим, дали ему сначала два года условно. В Салехарде потом суд переиначил: пришлось ему сидеть два года. Отсидел, опять к матери вернулся.

Когда сидел, научился плотницкому делу, столярному. Она и этому рада была. Потом он начал работать в Ямбурге. Вахтовал по полмесяца. Сама не была там, а слышала: кто в Ямбурге не работал, тот Севера не видал. Зимой морозы под пятьдесят градусов. От барака до барака веревки протянуты. С их помощью передвигаются, иначе унесет. Так вот газ-то дается.

...Мать к сестре уехала в Старый Оскол. Виктор примерно через полгода – к ней. Не захотел в Надыме с отцом жить. Пил тот крепко, буйствовал.

Прилетел Виктор к матери, его прямо в аэропорту и забрали. Он ничего не поймет. Оказалось, в Ямбурге убили парня, с которым он работал вместе. Мать с сестрой собрали денег, сколько для залога надо, чтобы его выпустили до суда.

Потом разобрались: когда случилось убийство, его уже в Ямбурге не было. Уволился и уехал. Он пока ждал суда, дал себе зарок: если отпустят, уйдет в монахи. И ушел. Разыскал мужской монастырь где-то в Калужской области. Мать, Люся, ездила к нему следующей весной. Место, говорила, райский уголок. Дубовая роща рядом. Монахи все вокруг в такой чистоте содержат. И столько кругом ландышей цветущих! Как в другой мир попала. Воздух! Хоть пей его. В монастыре коровы, куры. Целую ферму монахи содержат. Сын больше на кухне работал. Много заготовок всяких впрок делали. Консервовали, солили. Огороды огромные. Если корову зарежут, мясо не ели, в продажу. На полученные деньги покупали рыбу. Рыбное варили. Или постное.

Но снова беда. Плохо стало у матери с ногами. Ходить невмочь. Сестра Ольга написала Виктору. Так, мол, и так, Божий человек, мать совсем стала неходячая, давай, Витя, к ней прибивайся. У меня семья, работа. Я не потяну. А ты один. Приезжай за мамой ухаживать.

Вот он два года уже в Старом Осколе и живет, третий пошел. Мать пенсию получает, а он пристроился в церкви работать. Я иногда звоню ей. Иной раз она мне:

– Марья Петровна, мой Витя такой добрый стал. Помогло ему временное его монашество утвердиться в жизни. Одно беспокоит. Ему сорок один уже, а не женат. Мне так хочется, чтобы нашел какую порядочную и привел.

Спокойная стала в разговоре. А то, бывало, в Надыме зайду к ней, она и пошла без остановки обо всем и обо всех, кто наверху. Я ей:

– Люсь, мне неинтересно про политику.

– А я не про политику, я про жизнь.

– Мне неинтересно других обсуждать.

Она свое:

– Те, которые ловкие, дело свое завели, разбогатели. А которые посоветливее, так... они в стороне остаются. Из них кто спился, кто повесился, кто чего...

На Север каждый за своим едет. Свою долю ищет. Известно: славны бубны за горами. Чаше за деньгами едут. Кто как устроится. Кто в “Надымгаз” работает, теперь он стал “Газпром”, тот удачник. Хорошие у них оклады. У подруги моей Луневой, она умерла уже, дочь работает там уборщицей. Заработок – двадцать тысяч.

Мы со всей ребятней с пятого этажа в последнее время часто гурьбой у Нефедовых собираемся. Теперь уж со внуками. Дарья Николаевна и Василий Михайлович из Оренбурга. Сначала они, орелики молодые, целину рванули в 50-х годах поднимать. Там им какой-то мужик, который с Крыма, подсказал, что у него на родине организуется виноградарский совхоз. Уже закупили саженцы. Они – туда.

Приехали. Там, в этом совхозе, как раз строили дома из ракушечника. За счет совхоза. Пилили на большие кирпичи его, и – в дело. Построили они себе дом такой. Километров шестьдесят где-то от Евпатории. Стали неплохо жить. Туда на лето отдыхающие приезжают. Соорудили веранды, стали сдавать. Там же тепло.

И вот прибыли какие-то отдыхающие из Надыма, разговорились. Мол, в Надыме заработки неплохие, то да се. Василий Михайлович и поехал в Надым. Он электрик со среднетехническим образованием. Устроился быстро.

Через год дали ему квартиру. Дарья Николаевна подалась к нему. А дети уже взрослые. Старший сын остался в совхозе работать, женился. Второй сын Владимир в Питере служит во флоте. Познакомился с одной, пишет: “Женюсь”. Родители не возражали. Приехали в Надым, живут с ними вместе. Внука родили им.

Дочь их Татьяна – решительная девка. Звонит в Надым матери: “В Афганистан еду. Уже документы подала”. Мать в слезы: “Ты что? С ума сошла”.

Уехала Татьяна. Два года была в Афганистане. Окончила курсы поваров. Работала в госпитале.

Что заставило? Не могу сказать. Вода плохая, грязища. Заболела желтухой. Приехала к ним на Север.

Неприкаянные на Севере многие. Не все, конечно. Как унесенные ветром каким... Помнишь фильм-то этот?.. И каждый хромает на свою ногу.

Ни разу не слышала я, чтобы кто-нибудь на реке Надым песню запел. Как бывало на нашей Волге...

Растекается народ русский, его будто уже и нет. И те, кто живет где, как временные. Никому уж не надо ни своей земли, ни дома у речки. Разве чтобы доживать только, не жить...

Папа два года не дожил до своего 85-летия. Умер незадолго до нашего отъезда на Север. Пришел в сарайшку пол подмести, там куры у нас были в одной половине. В другой – две козы. Мама сидела козу доила, а он стал сметать куриный помет в корытце, которое встроил вровень с полом. Мама и не поняла, как все случилось. Обернулась, а он лежит недвижимый. Голоса не подал даже. До этого два инфаркта было.

Такая жизнь: многое хотел, а умер в курятнике. Боже мой, что я говорю? Вся жизнь папа трудился, нас кормил. Никого за всю жизнь пальцем не тронул.

...Андрей Сидоркин, одноклассник его, говорил на похоронах маме: “Счастливым какой Петр-то. Жил незаметно, никому не мешал. И ушел, никого не обременил старостью своей. Мне бы так...”. Позавидовал.

...Я сейчас замечаю за собой: у меня, как у папы, сердце-то стало. То защемит, то ничего. Руки вот порой не слушаются. Когда стою еще, на кухне руками могу работать, а наклонюсь: мотнет в сторону... Мне бы тоже так, как папа, чтоб не в обузу...

Спрашиваешь, что в жизни было самого-самого?.. А что было? Работа да заботы – вот и вся жизнь. Что еще вспомнить? Дети – самая большая забота. О себе когда помнить? Дом хозяином держится. А у мужа моего, что на катере, что в доме – все в развале. Злой Михаил был неимоверно.

Никакой путевой работник из мужа и на Севере не получился. От себя не уйдешь. Не любил работать и людей не любил. Куда уж еще хуже?

Песни не пел. Ни одной не знал. И пил, и дурил, и детей бил. И дочь, и сын бегали от него. Я не давала бить, так он без меня Петра отстегает и прикажет, чтобы молчал.

Но всему свой конец. Однажды прихожу с работы. Петя сам не свой сидит на кухне. Лицо опухшее от слез. Голос охрипший. Стала допытываться, он реветь. Ничего не говорит.

– Ну-ка, – говорю, – рубаху сними.

Снял. Гляжу: у него от плеча до бедер темные полосы. И ремень на полу в углу лежит. Ремнем сек десятилетнего мальчишку.

Схватила я в горячках ремень. Ну, думаю: держись! Одним махом свалила Михаила на пол. Разум, что ли, помутился. Опомнилась: Боже, он же муж мой! Что же это... сын рядом.

А Михаил перепугался. Бледный. Трус – одно слово. Не мужик.

Бросила в лицо ему ремень этот. Говорю:

– Бери сейчас Петю и ходи с ним в больницу. Пройдем освидетельствование. Подаю бумагу в милицию. Будешь сидеть. Хватит мордовать!

Не ожидала: бухнулся он на колени и стал молить, чтобы простила. Противно стало. Схватила Петю и ушла на улицу. Продышаться от всего этого.

Когда вернулись, он спит пьяный на полу. Села и сажу на кухне: лицо в слезах. Баба – она и есть баба.

А вскоре утонул муж в Надыме. По пьяни весной. Жил пьяным, помер глупо.

Поднимала детей одна.

...Только в день похорон Петя был у могилы отца. Потом – ни разу. А у деда в последний приезд в Октябрьск памятник обновил.

Я настояла в свое время сына Петром назвать в честь деда. Хотела, чтобы на папу был похож. И не ошиблась. Когда в вертолетное училище Петя поступал, зрение подвело. Зачислили не летать, а в механики. После учебы в Выборге вернулся в Надым.

Весь с тех пор в железках. Порода такая, кропотливый. И совестливый во всем. В деда. Комара во сне не обидит. Таким бы высшее образование, да побольше их. Наша общая жизнь, глядишь, получше стала бы. Выпрямилась... Но нет, как-то по-другому она идет... По своим законам устроена, жизненка наша...

...Вздумали его в депутаты избрать, а он ни в какую. Отказался. И папа сторонился власти всякой. Руками живем.

Там на Севере, известно, лагеря были. Ссылные.

Совсем еще недавно жил в городе один из таких. Звали его Аполлоном. Поговаривали, что граф по происхождению. За что осудили, не знаю. Деликатный такой, высокий. Когда освободился, построил дом. И жил себе прямо у реки Надым. Рассказывал кое-что о своей жизни. Немного.

Раз в год ездил он в Питер. Краски масляные привозил. Рисовал. Чаще всего осенний лес. Грустные картины такие. А недавно умер, в 98 лет. Всегда при встрече тянуло меня с ним заговорить. Иногда получалось.

Спрашиваю, что ели в войну в ссылке? Мне интересно сравнить с тем, как в Октябрьске было. Хлеба, говорит, не видели. По двести граммов крупы давали на день. Питались в основном тем, что лес давал. Было много куропаток. Оленя зимой забивали. Как в Надым едешь, по дороге там мост. А рядом озеро небольшое. Такие огромные караси в нем были. Озеро так и называлось: Карасево. Потом ягоды, конечно, выручали.

Морозы наступали в сентябре. И холода стояли до июля. Когда город построили и теплоцентраль, климат изменился. Немного теплее стало, а то один год даже речка не вскрывалась. Уже при мне на реке земснаряд поставили. Чистили судовой ход, чтобы суда не садились на мель. Дебаркадер обустроили. Я Аполлона несколько раз у этого дебаркадера с мольбертом видел. Чего уж он там интересного нашел? Сказал один раз:

– Какой прекрасный мир оставил нам творец!

Дивно это мне было тогда слышать слова его.

– Я прожила столько здесь и не увидела красоты никакой, маета одна, – говорю ему, – без Волги мне и холодно, и серо здесь. Где вы увидели ее, красоту?

– Человек – часть этой красоты, – так сказал. И совсем меня заморочил. Сколько ему люди вреда сделали, а он такое говорит.

Сильно испортился человек. Было бы побольше таких, как мой папа...

Теперь все чаще папу вспоминаю. Раньше сильно не задумывалась о вере. Помолюсь, и ладно. А теперь книги духовные начала читать. Евангелие. Раньше бы надо.

Папа-то! Он, бывало, перекрестится в нашем доме перед иконкой в переднем углу: “Святой Ангеле Божий, хранитель мой, моли Бога о нас, грешных...” Обернется на меня, лицо светится... С верой в душе жил. И дом наш на Волге наполненный им. Оттого, может, и крепок еще.

Мне Аполлона будто кто в помощь послал. Говорит:

– Сходите в Свято-Никольский храм-то, который у нас недавно построили. Он заряжает жизнью. По-новому должна церковь заговорить и, кажется, заговорила. Надо не уводить человека от жизни, а подготавливать к ней. К жизни не потом, а на земле. Жизнь и есть рай настоящий.

А я хожу в храм. Как не ходить? Не стала ему говорить об этом. Давно хожу... И вижу: не все, кто в храме, переживают. Некоторые приходят по форме... Меня слова его удивили в который раз. Это моя-то жизнь и других, кто рядом: рай?

А художник о своем:

– Рай надо творить самим нам. Я на Севере это понял. Это мой главный итог жизни. Храм здесь, на Севере, как нигде, соединяет и небо, и землю. И холодный север, и теплый юг. И Волгу, и Надым. Он среди суровой жизни – опора духа! В очередной раз у России крыша поехала. Сколько можно?



Смута – вот название всему, что творится. Очередная смута. Во всей России холод. Надежда на храм. В нем душа согревается. Свет идет. Церковь не может теперь быть сама по себе. Мир изменится к лучшему, только в единстве мирского и церковного.

Когда он так сказал, я опять папу вспомнила. Он ведь и верующим был, а в партию вступил.

Я, старуха, пожила, а терялась, когда так Аполлон толковал. Было уже это... с папой было, со всеми нами. Верили в Бога, в царя, потом в Ленина, в Сталина... в перестройку... Устали верить... Всеобщее братство, равенство... Будет ли такое когда? Какое братство, коль капитализм начали строить? Все по кругу идет!..

Сказала ему о своих сомнениях. А он не развеял их. Говорил, задумавшись:

– Грешны мы все, Марья Петровна. И не признаемся в этом, в личной вине перед нашей жизнью грешны. Повиниться нам надо, всем! Слишком многому верили из того, что нам говорили. Верили тем, кого не надо было слушать. И у нас, и за бугром столько таких говорунов оказалось. Говорунов себе на уме, со своей целью...

Вскоре художник заболел и умер. Я его незадолго до смерти у храма встретила. Указал он на прихожан:

– Смотрите, Марья Петровна! Народ в храм тянется. Ищет опоры. И вы в храм пришли! Россия в который раз во мгле. Успех любой ценой – разве это не грех? Большой грех.

А меня не остановишь. Не знаю, почему.

– Потянулся народ в храм, – соглашаюсь, – но уж больно разные жизни: в храме и на улице.

– Не торопитесь судить, – говорит. И смотрит на меня не осуждающе, а терпеливо, как на дите малое. И, правда, кто я перед ним?

– От иконы до топора, – говорю, – при безысходности далеко ли? Не зря мой папа рассказывал когда-то, что трубка Стеньки Разина вечно дымится в Жигулевских горах. До поры. Коли ту трубку кто покурит, станет заговоренным. Будет, словно сам Стенька. И клады ему дадутся, и все, что надобно. Одно слово – Разиным будет. Вот говорят, высох народ? Люди стали, как сухие листья, жухлыми. Но ведь сухие листья и полыхнуть могут, напоследок...

– Молитесь, – только и молвил он мне в ответ.

Я и молюсь. Молюсь и думаю, что каждый по-своему верит в нашу жизнь, оттого она никак не наладится.

Кто учит нас, сами ушибленные. Ушибленные больно все мы. Особенно наши мужики. Прости меня, Господи!

Гляжу иногда на свою внучку. Ручонки-то какие беленькие у нее. И слабенкие. Такая молодежь теперь. С эдакими ручонками только у компьютера с мышкой и сидеть. Случись жизнь на нашу похожая, осияет ли?

А теперешняя жизнь?..

...Давно уж смотрю на нее, на теперешнюю, будто из окна нашего дома над Волгой. Слово дом наш выше поднялся. Виднее теперь из него стало вокруг...

Прежней жизни нет, а новая – непонятная...

Что желать внучке? Был бы порядок и справедливость, а там, как у кого сложится. Внуки наши уж так не привязаны к Волге, как мы. Другие они.

А мы? Мы – такие, какие получились. Жили нелегко, особенно в детстве. А какой свет идет оттуда, из детства нашего! Неугасимый...

Прожив у нас не все лето, как собиралась, а чуть больше месяца, Марья Петровна внезапно собралась уезжать. Старшая ее внучка Лена месяц назад проводила мужа служить в армию. Теперь он в Северодвинске. Уже определено, Сергей будет служить водолазом.

Узнав это, я невольно подумал: прошло без малого сто лет, как Петра Андреевича Смирнова призвали на службу во флот. И вот новая судьба, Сергея и Лены. На другом вроде бы витке. У обоих высшее образование. Но ни кола, ни двора нет. Успели снять крохотную комнату в Надыме...

Новая судьба, как старая калька. Все бы, кажется, ничего, да пришла телеграмма: попала Лена в автомобильную аварию. Лежит с переломом обеих

ног. Это на третьем-то месяце беременности. Вот Марья Петровна и заспешила в Надым.

Когда прощались у вагона, сказала она с поразившим меня спокойствием:

– Не судьба. Хотела подольше пожить на Волге. Я что было удумала? Умру, может, здесь, здоровье-то никудышное. Оттого и разговорилась. Похороните около родителей, у реки. На просторе. Не хочу лежать на Севере, в мерзлоте. Удумала, а на все воля Божья. Внучка переломанная ждет, некогда помирать. Простите меня, грешную!

...Она уехала. И не стало в нашем доме того особого тепла и душевного света, какой был при ней. Все, кажется, осталось на месте, а с умолкнувшей ее, порой косноязычной, но такой живой речью многое потускнело.

За то время, пока гостила у нас, она и варенья нам наварить успела, и сока наготовила целую батарею банок. Пустовавший наш погребок ожил. Все, которые вокруг нее были, окунулись в ароматный, вкусный, домовитый, полузабытый уже мир детских запахов и ощущений.

Уехала, и мы словно осиротели.

Надолго ли хватит нам подарков, припасенных впрок ее щедрой душой?

“Она и песни-то любила, те, которые пел мой дед”, – запоздало спохватился я.

...Ловлю себя на том, что и я теперь смотрю на окружающую жизнь по-иному. Будто – из окна дома над Волгой, в котором прожил-то всего три неполных дня, когда приезжал с Марьей Петровной в Октябрьск.